

## Надежда Рунг-Антре (г.Липецк) **Солнце попадает в рай**



Непрекращающееся жужжание пчелиных истерик, сотканное из череды подобия пулемётных выстрелов, растекающихся в твёрдой среде досады; они ищут пропавшие цветы. Это я их украл, украл, чтобы они не разворошили мягкие, невинные ворсинки своими жёсткими, грязными, махровыми лапами, чтобы они не распродали их, как это делают люди со своими мечтами. Ароматное естество, обморочные запахи нашатырной въедливости, всё это усиливало чувствокружение, любвеобильную хворь неокрепшей психики лета.

Я бегу, ветер размахивает кулаками своего дуновения, пытается выбить почву из-под ног, но не попадает, вернее — сдирает шляпу и в уверенности, что повалил именно меня, продолжает месить её хуками, в жажде довести моё "псевдо-я" до состояния рубища, но вместо хруста костей, разочарованно улавливает лишь треск стонущей подкладки.

Оторвался. Дом. Лепестки, застрявшие в зигзагах заевшей молнии; коробит страх: неужели они задохнулись? Тогда в приступе лихорадочной паники распарываю себе брюхо, красная футболка крови, мгновение и... За неровно обрезанными краями обильным нектаром хлынет живое, флористическое нутро, нутро, доставшееся с таким трудом.

Разве существуют внутренности, пахнущие столь же чудесно? Они заполнили всю кровать, цветы, игравшие складками своего благовонного шлейфа, источали такой аромат, что, пожалуй, сами рассыпались в благоговении к нему.

Корреляция аккуратно высаженных шпалер истерик с неотголосившим послевкусием пчелиного недовольства... Сие не оставляет другого выбора, как затыкать уши, чувствуя свою правоту. Рассказ о погоне звучит неубедительно для её узколобой, но привлекательной натуры. Раскрытая дверь, но как могу предать, забыть свою миссию, свой безнаградный подвиг, значительный, и да прольётся слеза благороднейшего человека, который будет жить после меня, и да озарится он отголосками реминисценций в великих деяниях своих, и да не будут ослеплены глаза его плачем последующих поколений, творящих новое благо под вдохновением прошлого, не прервавших эту династию героических актов. Неудачный аргумент: спровоцированный хлопок, побелка, словно конфетти окропляет порог...

Ушла. Я чувствую себя обманутым вдвойне: сейчас я нечто потерял, плюс ко всему нашёл разочарованье, когда мелкие жуки, поправшие святыню чистой пыльцы, довольно вылезали из цветов, вытирая лапами свои запачканные усы. Так я остаюсь один...

\* \* \*

Так, я остаюсь один. После такого неодобрения, пугающего своей категоричной неуступчивостью, боюсь что-либо совершать — своеобразная аллергия, заставившая мои руки отвалиться. Не могу ничего делать, изнываю от того, что подключён к проводам безжизненной усталости, передающим ток грусти.

Как мне объяснили, во мне на то время открылись новые способности, имеющие причину в моей безрукости. Меня заметил представитель гильдии пластических искусств.

— Вы стоите так статуозно, — оглядывал со всех сторон. Потом предложил взойти на подиум для вращения манекенов и осмотрел вторично. "Чудесно!" — всплеск его речи выдавал такое слово, в то время как во мне лёгкой негой замирало сердце.

Тогда я стал экспонатом. Иногда подменяю статую какой-то богини без рук, все дразнят нас женихом и невестой. Оказывается, она скопила достаточно средств, чтобы купить себе протезы и отработывает последнюю неделю (отчего один из зрителей сего важнейшего храма искусств, шатающийся от вынужденных процедур внутривенного вкалывания тройного одеколona, а по праздникам — разбавленного спирта, высказывается с высоты своей критической натуры: "Вы, статуи, продажный народец. Чуть заработаете и след вам простыл...") Я же, окропленный водоэмульсионкой, буду достойной заменой, если пройду стажировку. В оплату мне достаётся честно заработанная музейная пыль.

Мне нравится. Приятно наблюдать, когда рассказывают историю моего создания, своеобразное подтверждение моего существования, под непрекращающиеся зевания и ковыряния в носу разнопоколенных людей.

Но вот что случилось: по несчастью я так вжился в роль, что однажды упал со своего постамента и раскололся как гипс. Почему я не принял себя за мрамор? Это было бы безопаснее и крепче. Из-за такой пустяковой ошибки, неправильного выбора, пришлось проторчать несколько дней в тесной заваленной разным интересным хламом студии реставратора, так долго, что уже забыл, как люди умеют зевать и строить нелепые рожи скульптурам во имя акта потехи. Какое безграничное домогательство, какой перелив неожиданных гримас! Как мог забыть? И лени трубный глас всему виной, ведь он отвлекал меня каждый вечер от серьёзных размышлений и вот мои воспоминания постепенно исчезали, обращаясь в газовое состояние.

Ещё один промах, но уже принадлежавший не мне: реставратор вылепил новые руки, и моё рабочее место было с прискорбием утеряно.

\* \* \*

Возможно, она права. Ряса, сотканная из обыденности: совершеннейшее отчуждение фантазии ради бытия, возлживающего на одрах реальности, на которые придётся также взойти, возможно, в виде лебедя, мучиться в нежеланном слиянии, необратимом заземлении естества, чтобы потом возродиться в новой плоти и примерять пинетки узколобости, такие, как у большинства. Жертва, вознесённая на алтарь чувств...

Шок предстоящего заставлял застыть в кататоническом ступоре нерешительности, трепаном буравили сомненья, сделанные дырки с поразительной точностью подходили для того, чтобы в них влез фобос со своим предназначением атаки ломких нервов.

День хотел выздороветь от лихорадочного зноя: он избрал потогонное лечение, что сказалось на асфальте, железе, выделившей несколько жалких луж. Посреди этого жара, непрекращающегося испарения, я встретил человека, искомое стереотипизированное спекулирующее существо, которое сразу же раскрыло врата своего пальто, пресловутая манипуляция, не имеющая своей целью эксгибиционистскую выходку, но побуждаемая одурманивающими сиренами выгоды, распространяющимися по каналам тщеславия. Опасность, постоянное озирание по сторонам, его товар манил хитрым блеском, всё это завертелось во мне и дало свой побочный эффект: всплеснув прозрачными волнами новорождённых рук, убегаю прочь от осознания того, что чуть не сделал, убегаю под крики безумных освобождённых птиц, жаждущих обратно в клетку. Чистокровный породистый страх вставал во мне на дыбы, и в защитной реакции действуя голотурией, чуть не выплюнул слизь своих внутренностей в этого проклятого скупщика разодранных крыльев души.

\* \* \*

Она сочилась во сне — такая сладкая, понимающая до слёз. Потом он просыпался от того, что кто-то дышал на него перегаром. Это было утро, бесстыдное, оно уже успело где-то хватить. Тогда под давлением одного невыносимого запаха он забывал эту музыку, нарекал её зном, прошедшим, томящим разум секретом, давящим на теменные области трепета. А всё желанье устремлялось, пело в четыре трубных гласа божественному сознанию "recordare", выдавая агнцем свою забывчивость. Но, жестокое, оно не

прощало, требовало жертв на кровавом алтаре диспутов, забрызганном скептической слюной.

Тогда я был идой, возможно июльской или августовской, ибо стоял посреди календарного моста. Тяжёлый выбор, нерешимость, непрекращающееся продуцирование новых размышлений...

Завлекала, кокетливо подмигивала эта бессмысленная поэзия делирия, которая видела красоту в бессвязных выхлопах слов больного духом, считала их доподлинной рифмой, причиной, хаосом, из которого рождалось бытие, закричавшее большим взрывом от тоски по тёплой утробе несуществования. Единственное, первенец, избалованный многообразием игрушек, оно, следуя собственным капризным разумениям, иногда терзало и кидало, иногда гладило и причёсывало весь арсенал людей, животных и птиц. Так оно впадало в мегаломанию, возомнив, что имеет право терзать всё и вся.

\* \* \*

Как неприлично, теперь он говорит о себе со стороны. Пусть утверждают, что это ненормально: я заразился манией величия от бытия. Итак, я открываю этот никчёмный балаган с номера фокусника с его тривиальными проделками отрывания большого пальца, эквивалентными смене повествования в третье лицо, как уже было замечено бациллами внутренней речи.

— Лучше б вы голову себе оторвали!

— Что? Кажется он (то есть я) слышит суровые выкрики обиженных пчёл!

Он думает, что надо бы с ними покончить, но не ухищряется, придумывая изощрённые

методы выманивания душ из плоти, он вытолкнет их в тяжёлых цепях на эшафот своей мысли и сведёт их головы к нулю.

### Памятка мечтателю

Мечтатели живут не зря, мечтатели живут недолго — эх, сколько кораблей, уходящих носовой частью под воду, уносили с собой в ледяную воду этот девиз вместе с воспалёнными, пухлыми романтикой криками полуденных богемных призраков, пропитанных абсентом и его парами, галлюцинаторными аффектами, дирижируемыми господином туйоном, прозванным также серым кардиналом неординарных впечатлений.

Теперь немного о себе в третьем лице. Он будет подражать поэзии этого мира и отбирать самые лучшие его стихи, но упрямец никак не хочет их отдать: глупая земля не ведаёт, что метод ненасилия нам чужд. Тогда он начинал оттачивать свои репрессалии ради великого акта изъятия строф.

Творилось это так. Бывало, он вдвух в мыльный пузырь определённый цвет, отвечающий взрывом на дерзновенные веяния внешних раздражителей, и тогда мир, оглушённый этим внезапным хлопком, мимикрично окрашивался в тот же колор. Так продолжалось несколько раз, оказия, выдающаяся как эксперимент с записыванием сумбурных безнадобных результатов. Иногда, изголодавшись по пению, он принимался насыщаться, кричать арии, разбрасывая крошки слов, от какофоничного гомона которых растения сходили с ума, отворачивали листья от солнца. Потом, восседая в отдельной палате, питаясь фотосинтезом через клизму, заключались в смирительную рубашку, в рубцах от укулов на стволах и стеблях.

Старался, работал на наступление ночи с середины дня, но никто даже и не смел строить домыслов, не догадывались, почему она должна быть темна, и кто выступает причиной этих смерканий, буффонадой плановой обструкции против света, резонансом ненормальных перемен, оказывающихся абулией, сплином обители богов, новой фронды, оппозиционной земле. Огромные свечи, насаженные на гигантские нижние прозрачные кольца в его доме, являющемся имитацией пещеры кристаллов, чадили небо,

которое он старательно в атлантовых своих руках водил над пламенем, чтобы закопченность его была равномерной (но такого не получалось, и люди, сами оправдывая его, придумали, нашли причину, фиктивную, в разности часовых поясов). Ночь отступала, и он, снедаемый отчуждением от своего творчества, так просто превращённого в тлен, забивался в маленькую келью одиночества, сдувая даже пыль, чтобы побыть наедине с собой. Разочарованно брал книги, монотонные труды, имеющие запах глянцевого журнала, а потом, с пальцами, изрезанными листами, марал глупые, выхолощенные смыслы меткой крови. Сие совершалось нервно, ибо чернота ненаступившей ночи, ночи, имеющейся только в представлении, капризно приставала, валяла дурака, размахивая острыми предметами, заточенными под звёзды. А ещё, угрожая, она могла высосать ему глаза. Он выходил из кельи и видел последствия своей лени: целыми днями утру приходилось вздымать свою грудь, отравляясь пропитанным фимиамом, воздухом, а потом неблагодарный люд нарекал его ночью, белой ночью... (Возможно, это и есть та причина, которая заставляет утро напиваться.)

Потом, когда крыша начинала переливаться металлическим запахом, а воздух, пропитанный табаком, вызывал никотиновую зависимость, он оставался совершенно один, измысливая для себя курс бойца с несовершенствами, перфекциониста, орудием достаточной остроты которого выступала саморефлексия.

Каждый вечер от нечего делать он размахивал метафизическим сачком, пытаясь поймать настоящее. Небо кишело лишь прошедшим и будущим, неуловимыми конститuentами жизни.

Иногда он пытался выбить из головы множество событий, фактов, впечатлений, чтобы начать жизнь с чистого листа. Не получалось, и продолжал ходить с авоськой, нагруженной осточертелыми кулками чувств и дум.

Он не любил, когда на него попадала хоть капля дождя, поэтому стоило сему природному явлению начаться, наш мечтатель прятался под алгебраический корень, выходя впоследствии волоча за собой огромный хвост числового остатка. Но время лечило его, округляя, доводя до того, что он больше не являлся дробным.

Врачи выписывали ему лекарства; по три, по два раза в день его брюхо насыщалось химическими соединениями; седативный эффект смыкал его глаза, от скуки он читал инструкцию. Побочное действие. Головная боль, тошнота, бессонница, абдоминальные

боли. Особые указания. Тем людям, которые ещё живы, принимать не рекомендуется. Всё прояснялось: ему выписали таблетки для мертвецов. Ошибка? Нет, угнетённая нервная система не допускала никакого ответа, кроме утвердительного... И чудилось иль было наяву, что анестезийно весёлые, белохалатные, скептически настроенные санитары общества объясняли свой жест передозировкой жизни, увлечённо пуская произвольные волны диаграмм, устраивая целые цунами и в без того беспокойном океане истории болезни.

Теперь одолевавшие вопросы примыкались цепочкой безопасности, крюком, отнюдь не спасающим от выпадения из аттракциона неуверенности. Центрифуга, чудовищно разгоняющая кровь (пожалуй вправду в процессе катания на ней отделяется плазма) и краски мира, сплетённые в одну неупорядоченную густоту, его снедали комары сомнений, всё проносилось слишком как во сне. Обуреваемый тревогой, он выбирал нажать стоп-кран, остановить беспутство редуцентов мыслей, всё замирало, постепенно зарастало паутиной убеждённости, на самом деле — плетнями ядовитого плюща.

Всё начиналось вновь. Утро, пьяное по известным нам причинам, иногда наваливалось, будило, пыталось сдвинуть с места и прилечь в одежде, пропитанной росой; чтобы не слушать недовольных истерик в оправдание своему поведению оно приносило с собой чудесный букет рассвета.

И вот, разбуженный, каждый день он как дурак радовался восшествию солнца, но если же его не видел, то все двадцать четыре часа ходил удручённый, боялся, что это навсегда. В конце концов, оно могло бы предупредить, оставить записку на небе, закрепив её на магнит облаков. А что если оно умерло? Не выход отдавать свои таблетки. Но что тогда? Тогда... Тогда он надеялся, что солнце попадает в рай...

Возвращение в привычное лицо, бледная кожа, обрядная маска для свершения прогулок по ментально сформированному миру.

Нитевидный пульс предупреждал, что скоро оборвётся, интуиция, предрекающая падение мира на колени, и слышу, как хрустят его кости, суставы, дробленные в крошку,

вот из чего слагались стансы звуков...

Тирада впечатлений, сугубо эмоциональных, троллейбус, перекасти-поле четырёх вращающихся на ветру колёс, пытаюсь взяться за поручень, но люди нервно отпихивают, заливаясь гусиным шипеньем. Шатаюсь в стороны, отталкивая эти скабрёзные геометрические фигуры с равными сторонами ненависти и прилежащим к ним углом злорадной нетерпимости, пытался оплатить проезд. Водитель, ошпаренный недовольствиями, категорическим учительским тоном пресёк мою выходку:

— Разве вы не знаете? Оплачивать надо на выходе.

Ах, да! Я стоял в душном троллейбусе, и мех чьей-то куртки щекотал мои уста. Всё, всё потеряно в эфемерности настоящего: внезапный толчок отразился свободным падением тех, кто меня гнобил, кто не давал твёрдо стоять на этом липком резиновом вместилище существ. Кто-то, совсем раздавленный, кричал, разрывая своими грязными когтями душу, пытаюсь своими цепкими хватками остановить процесс её сепарации от тела.

— Ты, ты, что не внемлет пароксизмам нашего времени! Не дай мне застыть в замыкающемся сонме смертей!

Возбуждённый, поверженный в гиперэнергичное состояние вдохновенными призывами, я выбиваю двери, влетевший воздух радостно преумножает мои силы. Цветы — та радость, что я когда-то спас — великим подвигом они распускались во мне, и теперь свежие обломки стекол алели камелиями, бегониями моей крови.

Вздохи, томления спасённой души, повозка с лошадьми загородила путь, но убегая, так и не заплатив. Провокация новой погони, теперь мне только бредится покой, псы, вынюхивающие череду следов, с носом, забитым тоннами придорожной пыли, поймают, и будут добиваться совершенства в разнуздании плоти побоями.

Мы шли рядом и разговорились. У него отсутствовало лицо, и лишь глазные впадины без глаз. Приходилось задаваться вопросом: куда он смотрит? И знает ли, куда идёт?

Кажется, бредёт случайно, иногда врезается в столбы и пролетающих мимо птиц, брызжащих своими перьями от удара. Тонкая плёнка кожи тряслась динамиками, откуда испускал он речь.

Я стоял, являясь по случайности солнечными часами, отбрасывая тень, по которой все, останавливаясь, сверяли своё время.

Собеседник, под давлением не щадящей жары, снимал шевелюру, и можно было наблюдать, что голова его — глобус, наблюдать, как где-то происходит землетрясение и как омывает берег океан. Неплохая встреча: я — законодатель времени и коптител небес, он — сам мир. Какая великая возможность! — кричало маниакальное умонастроение, разочарованное, что я не внял интуиции, которая шептала: «на этот раз возьми, точно пригодится» — в конце концов, забыл удавку и струну.

Тем временем кто-то посмотрел на стрелку, мою тень, вспыхивая, выплёскивая смрадные помои неудовлетворений.

— Как можно на столько опаздывать?! — выплюнул сгусток восклицания, повисший на губе, он долго не мог окропить им землю, наконец бросил букет и принялся его топтать, осторожно; ходить, как йог по углям.

Тогда, не выдержав своей роли, я сел рядом с собеседником. Какой ужас, я же спас мир! Меня трясло от лихорадочного ужаса, слезливый голос выпевал своё сопрано, растроганное своим же поступком.

— Обещай, обещай мне, по праву спасения, дарованного мною, не превратиться в тлен и не замёрзнуть под толщей льда, не разорваться от ядерного взрыва. Не слушай жажду мщенья, поющую против тех, кто тебя испортил, иначе тебя постигнет разрушение под восторженные, перекликающиеся эхом, отражением от мёртвых безучастных к жизни скал апокалиптические свисты и аплодисменты. Не кланяйся отребью и не выходи на бис...

Как на духу стало тяжело! Эти слова не выплеснулись, а втянулись вместе с джином воздуха в лампу моих лёгких, отравленных тяжёлыми металлами откровенности. Зачем я открываю душу миру? Зачем не дал спокойно замёрзнуть во чреве небытия?

Молчание; я наблюдал, как бытие расплзлось широкими импрессионистическими мазками необычайной яркости, такое красивое, но губительное открытие сродни расщеплению атома, который разорвали так же жестоко, как титаны проделали это с Дионисом. Всё месиво этого взрыва красок, эта десятибалльная тряска работающих рук творца — всё это на моей ответственности.

Вопросы, глупые ввиду неправильного внутриутробного развития, рождались в моей голове. Один из них облёкся в оболочку приборного гласа:

— А вы о чём мечтаете?

Какая нелепость! Я открестился бы от этого абсурдного вопроса, причём двумя перстами, как старообрядец. Вот что натворил.

Этот мир, как он прекрасно умеет это делать, покосился гневно, превращаясь в куклу из папье-маше, кожа стала лакированной, щёки непрерываемо впадали, втягивались вовнутрь, в глазной впадине чернели с краснотой догорания угли. Он стал рассыпаться по кускам, мир, необязательный и не дающий обещаний, издавал дикие, разуродованные скрежетом, вопли. Испугавшись, я убежал прочь, взятый под руку раскатами грома.

Красный свет, вошедши на престол со скипетром и державой, озарял усталые физиономии. Я видел, что проявил своим вопросом-закрепителем, какие образы пожаловали, отвалились сами с барского плеча мировой фотоплёнки. На улице стало оживлённо: уже не хватало земли для могил, всё было вскопано, я переступал, а крематории готовили тонны горючего для своих печей. Всё живое ждало конец света.

Они сыпали бранью и грязью (что, в сущности, одно и то же), кто-то высовывал дуло из окна, огромное столпотворение чёрных убийственных дыр, наставленных, стреляющих в

моё цветочное нутро. Из последних сил добегаю до башни, дрожащей на ветру, утопающей своими мудрыми, всезнающими балками в опьяняющем цифире тумана. Не было того, что не являлось для неё неведомым, авторитет, отголосок истины, с трудом продирающийся сквозь наваленные агрегаты невежества. Эта башня... Она возвращала чувство реальности, и понимал, что всё по-настоящему, теперь я чист и вовсе не прострелен. Странно, ведь я постоянно видел её из окна, но её сила ускользала от меня.

Теперь совершенно отчётливо осознаю, почему не люблю дождь.

Вы не представляете, какой ужас и страх испытывают дождевые капли в процессе падения на землю. Им не выдают парашют. Я знаю точно, им противно падать на людей — это значит, что у них плохая карма. Особенно для них ужасно угодить в открытый рот какого-нибудь придурка, радующегося дождю. Я обращаюсь к вам: не причиняйте им такой боли!

События выташнивались прямо на обочину моей жизни, и было видно, чем питался их создатель. Я подходил посмотреть. Несочетаемые вещи, превеликое разнообразие непереваренных продуктов.

Видел, например, в этой блевотине: подхожу к какому-то противному спекулянту, который эксгибионным движением выставляет подкладку плаща, и что-то отдаёт манящим блеском. Всё ради тебя, любовь, порождающая уродливых, злых титанов чувств. Но не продал свою мечту, единственный и одинокий в целом свете. Вот почему мир меня узнал...

Какая катастрофа, горе, какая нелепая пересадка костного мозга ощущений! Смысл, светлый как безгрешная душа, повернул свои намерения вспять. Теперь я маргинал, имею лишь плащаницу сакрального ничто.

Лавина снега, соплеообразно свешанная с крыши, придавала значимость моей жизни.

Целыми днями проводил под нею, в ожидании, пока она меня прильёт. Но вот я проснулся, и в панике не застал её на месте, она осыпалась, предательски меня не подождав. Потеря...

Теперь мне нечего терять. Взошедшая луна как всегда напоминала горькую таблетку, которую заставляли принимать в детстве. Так же и сейчас: не хотелось переваривать в желудке эту ночь, выпитую натошак.

Последние строки неугомонного Гегесия, единственная книга учителя смерти, которая, сохранившись от посторонних глаз, держится в тени древа тайн, зажимая свою больную щитовидку.

Читаю: «Если стало душно в этом мире, открой окно,пусти смерть...» Я вижу башню, обвитую зноем и возвращающую чувство реальности. Теперь я знаю: платить надо на выходе.

Невыносимо душно. Престарелый, с трудом поддающийся замок. Он открывает окно.